

Д. А. РЕДИН

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ: ЯЗЫКИ ОПИСАНИЙ¹

THE SOCIAL ORGANIZATION OF EARLY MODERN RUSSIA: LANGUAGES OF DESCRIPTION

The author of the article returns to the long-standing discussion about what society was like in Russia in the 17th–18th centuries. Is it possible to explain its structure within the class paradigm? To what extent do authentic texts of official legislative origin, such as the Conciliar Code of 1649, adequately reflect social reality in Russia in the early modern period? Is it possible to more accurately understand social stratification through texts created by ordinary residents and reflecting their ideas about self-identification? The author, in solidarity with a number of researchers, considers all options as equal languages of social description. How do they fit together? Which one is more accurate? Each of them has a right to exist because it fulfills its function in the process of our understanding and explanation of the past. None of them is capable of absolutely adequately conveying the social reality of the past. Each of them is appropriate in its own area of application. Ultimately, the author suggests accepting this as a given and not trying to find or invent some ideal and unique language of social description. This is hindered by the very essence of the social structure – plastic and changeable – and the specificity of the historical process, which is always unique in a specific place and time.

Keywords: estates (sosloviya), social structure, social stratification, social reality, languages of description, Russia, New Age.

Dmitry A. Redin – DSc in History, Chief Researcher, Center for Social History, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia). E-mail: volot@mail.ru/ ORCID: 0000-0002-3431-1662

1 Citation: D. A. Redin, „Sotsial’naia organizatsiia Rossii rannego novogo vremeni: lazyki opisanii [The Social Organization Of Early Modern Russia: Languages Of Description], *Russian-StudiesHU* 7, no.2 (2025): 165–184. DOI: 10.38210/RUSTUDH.2025.7.18

Дискуссия о поиске адекватного языка описания социальной организации России раннего Нового времени (главным образом, периода XVII–XVIII вв.), её характеристик как системной совокупности организованных структур – явление в исторической русистике не новое. Во многом она возникла как результат кризиса советской методологии, рассматривавшей социальные процессы с позиций классовой организации общества в её марксистско-ленинской версии. В то же время, нельзя отрицать, что вопрос о том, как изучать механизмы социального структурирования российского общества, в том числе указанного периода, возник в общем русле формирования «новой социальной истории» в гуманитарном научном сообществе стран Запада, в которое, с понятным запозданием (едва ли ранее рубежа 1980-х – 1990-х гг.), включились и российские историки.

Скептицизм по отношению к продуктивности классового анализа в исторических исследованиях (причем, не только в области «Russian Studies»²) поставил в центр обсуждений проблему возможности применения сословной парадигмы к социальной истории России «предимперского» и имперского периодов. Полемическую заостренность вопросу придала статья американского историка-русиста Грегори Фриза, опубликованная в 1986 г. в журнале «The American Historical Review» и в 2000 г. увидевшая свет в русском переводе³. Проведя тщательное изучение истории понятия «сословие» в сопоставлении с понятиями «класс», «чин», «звание» и «состояние» в свете их бытования в русском языке XVII–XIX вв., Г. Фриз пришел к выводу о том, что о сословиях в России можно говорить только применительно к ситуации XIX в. Историк отметил многосложность российской социальной структуры, её крайнюю дробность, терпимую, а порой и поощряемую государством на протяжении всего изучаемого периода, а также «подчиненность» понятия «сословие» понятию «состояние» как составной части последнего. Статья Фриза вызвала широкий резонанс и среди западных историков-русистов, и среди российских специалистов. Вопросы, обозначенные на её страницах, равно как и размышления

2 См., например, на этот счет крайне интересный сборник. M. L. Bush (ed.), *Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification* (L.; N.Y., 1992).

3 G. FREEZE, «The Estate (Soslovie) Paradigm and Russian Social History», *The American Historical Review*, Vol. 91, no 1 (1986): 11–36; Г. Фриз, «Сословная парадигма и социальная история России», *Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: антология*, сост. М. Дэвид-Фокс (Самара, 2000): 121–162.

о применимости сословной парадигмы к анализу социальной структуры имперской России, изложенные несколько ранее другим американским историком – Альфредом Рибером⁴, стали обсуждаемы рядом авторов, опубликовавших свои статьи в номерах журнала «Cahiers du Monde russe» 2008–2010 гг. Учитывая ограниченный объем статьи и её сосредоточенность на определенном хронологическом периоде, очень коротко остановлюсь на выводах трех участников дискуссии, опубликовавших свои работы в этом парижском журнале. Один из них, Михаэль Конфино, не отрицая наличия сословной градации российского общества и даже признавая, что она являлась важной частью его жизни (также, как и в западных странах), отметил, что при этом в России имелись большие группы населения, существовавшие вне сословной системы, а сами сословия не были гомогенными и всегда оказывались «оболочкой» разнообразных, включенных в них, групп. В связи с этим российское общество оказывалось внутренне рыхлым и настолько своеобразным, что, возможно, его описание требует разработки какой-то иной классификации и терминологии⁵. Это продуктивное наблюдение нашло развитие в статье Элис Виртшафтер. Категории и понятия, появившиеся в рамках концептуального аппарата европейской истории (такие, как «сословие» и «класс»), никогда не будут абсолютно адекватными в применении к российской действительности – писала Э. Виртшафтер – впрочем, они не будут универсальны и для разных государств Европы. Пытаясь разобраться с социальной стратификацией России имперского и более раннего периодов, историки обращаются к законодательно закрепленным социальным схемам, которые были результатом правительственного творчества. Но для выработки адекватных социальных категорий необходимы учет и понимание разнообразных проявлений групповой идентичности, которые отражали реальный жизненный опыт общества, плотная работа с источниками, демонстрирующими различные индивидуальные и групповые практики людей, которые создавали иные, отличные от официально-юриди-

4 A. J. RIEBER, *Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982). Если Г. Фриз не отрицает в принципе наличие в России сословного деления, то по мнению А. Рибера в России «подлинных сословий» не было вообще, а, соответственно, не сложилось условий для последующего формирования классов. Российское общество на протяжении всего имперского периода было фрагментировано и существовало в качестве совокупности изолированных социальных групп (A. J. Rieber, *Merchants and Entrepreneurs*, 416, 426).

5 M. CONFINO, «Soslovie (estate) Paradigm: Reflections in some open questions», *Cahiers du Monde russe*, vol. 49, no 4 (oct. – dec.) (2008): 681–704.

ческих, типы социальных классификаций. При всей стройности концепции социальных структур, представленных в официальных документах эпохи, необходимо понимать самопрезентации людей и сообществ и механизмы взаимодействия этих самопрезентаций (с учетом места и времени) с официальными классификационными схемами⁶. Наконец, Дэвид Ранселл предложил не зацикливаться на концептах «сословие» и «класс» как структуралистских по своей природе и не отражающих всей сложности социальной организации и социальных отношений, что заметно при их изучении на микроисторическом уровне. Понять их характер возможно лишь отказавшись от предубеждений, почерпнутых из обобщенной макрокартины, сосредоточившись на исследованиях повседневной жизни и системе патрон-клиентских отношений⁷.

Разумеется, сказанное не исчерпывает всего богатства содержания цитированных статей, равно как и не претендует на полноценный историографический анализ всей проблемы, но показывает основное направление (и, как представляется, весьма продуктивное), взятое в дискуссиях зарубежных коллег-русистов. Итак, прежде всего следует отметить, что все они сходились во мнении о том, что даже если, анализируя социальное устройство Российской империи, возможно говорить о наличии сословий как крупных общественных категорий, то только преимущественно к XIX в. Во-вторых, признавая наличие сословий в зрелой и поздней империи, необходимо также учитывать, что сословное деление не отражало и не исчерпывало всей сложности российского социума. В-третьих, в связи со своеобразной социальной стратификацией России Нового времени, отличной от западных аналогов, целесообразней начать поиск иных, более подходящих, чем «сословия», социальных категорий (в том числе ориентируясь на исторически бытовавшие в России, будь то «чины», «чины и звания» XVII–XVIII вв. или «состояния» XIX в.). Наконец, исходя из предыдущего, признавалось продуктивным, что разработка социальной классификации и терминологии, соответствующей организации российского общества Нового времени, должна опираться не только на таксономию официальных правительственных текстов (например, различных нормативных законодательных источников или данных официальной

6 E. K. WIRTSCHTER, «Social Categories in Russian Imperial History», *Cahiers du Monde russe*, vol. 50, no 1 (jan. – mars) (2009): 231–250. <https://doi.org/10.4000/monderusse.9164>

7 D. L. RANSER, «Implicit questions in Michael Confino's essay», *Cahiers du Monde russe*, vol. 51, no 2–3 (avr. – sept.) (2010): 195–210. <https://doi.org/10.4000/monderusse.9181>

статистики), но строиться с учетом разнообразных самоидентификаций социальных групп и индивидов.

Из сказанного видно, что вопрос о том, существовали ли сословия в России Нового (и тем более раннего Нового) времени и возможно ли научное описание российского социума указанной эпохи в понятиях сословной парадигмы, является вопросом многозначным. Это и вопрос о том, как представляла и описывала социальное устройство на том или ином этапе центральная власть (законодатель), и о том, как представляли и выражали общественное устройство российские подданные разных категорий (вопрос самоидентификаций и самопрезентаций социальных групп), и о том, как всё это возможно представить в научных категориях, достаточно точных, чтобы отражать социальную реальность изучаемого времени и, одновременно, удобных и понятных в историографическом плане. Иными словами, разбираясь с вопросом о том, как было устроено российское общество, мы должны ясно понимать, что нам придется иметь дело с *несколькими языками описаний*, или несколькими системами классификаций, большая часть которых имеет ретроспективный характер, открывается нам через исторические источники, а потому фрагментарна (поскольку даже большое количество источников не способно передать абсолютно полную картину прошлого) и требует квалифицированных «усилий перевода», адаптации к нашим представлениям и к нашему языку.

Очевидно, что в данном случае наиболее «искусственным», «кабинетным» является язык научных таксономий социального деления. И хотя понятие «сословие» есть не только продукт историографической традиции, но и производное исторических источников, отражающих ранее существовавшие общественные представления о социальной иерархии, трудно не согласиться с одним из крупнейших специалистов в области социальной истории Борисом Н. Мироновым, отметившим его «виртуальный» характер, а социальные группы, которые мы исследуем под этим названием, есть «группы людей на бумаге», которые, тем не менее историк вынужден анализировать так, как будто они реально существовали⁸. Проще говоря, термин «сословие» оказывается подобен «идеальному чиновнику» Макса Вебера – набором критериев, которые скомпонованы исследователями; понятием, удобным для *объяснения* тех или иных исторических явлений, но мало дающим нам для их по-

8 Б. Н. Миронов, *Российская империя: от традиции к модерну*, т. 1 (СПб, 2014), 326, 333–334.

нимания; инструментом, пригодным для макроописаний, неизбежно «спрямляющих» исторические процессы, и ломающимся при соприкосновении с эмпирической реальностью. В этом отношении мы имеем дело с более глобальной проблемой научного исторического познания: конфликтом социологических схем и исторических фактов, макро- и микроуровней историописания. Эта проблема тоже не нова: многолетний спор о том, «кто более матери-истории ценен» – «практикующие» или «эпистемологизирующие» историки (термины, не без иронии изобретенные Павлом Ю. Уваровым), очень заметный, по крайней мере в российском научном сообществе 1990-х – 2000-х гг., безусловно, имел своим основанием дискуссию о примате обобщений над «эмпирикой» и, наоборот; преимуществ генерализаций над всяческими «историями в осколках», и являлся российским «изводом» аналогичных дискуссий в международном формате. Итогом этой полемики стало понимание необходимости поиска некоего среднего пути, примиряющего широкие обобщения (в том числе изобретения обобщающих социальных категорий) и изменчивые множества социальной реальности, предстающие нам в разнообразных исторических источниках.

Применительно к теме моих размышлений осознание того, что *нормативный* язык социальных понятий (создание «кабинетного» тезауруса, набора модельных понятий по принципу «так должно быть») и *позитивный* язык источников (апеллирование к исторически существовавшему словарю, который, вроде бы, должен показать нам, «как было на самом деле») сочетаемы и выполняют свои когнитивные функции, есть спасительный выход, отказ от бинарно-оппозиционного восприятия генерализации/специализации (индивидуализации), признание их взаимной дополнительной⁹.

Притягательность применения конструкта «сословие» к научному описанию российского общества Нового времени можно объяснить

9 Отталкиваясь от открытого Нильсом Бором метода сочетания некоторых форм получения информации в квантовой механике, названного им «принципом дополнительной», Ю. Л. Бессмертный сформулировал общие принципы осмысления прошлого посредством параллельного использования разных по своей сути способов: исследования больших структур и исследования микромира (как индивидуализированного воплощения стереотипов и уникальных поведенческих феноменов). Этот принцип дополнительной, примененный к изучению социальной материи, историк образно сравнил с биноклярным восприятием мира зрительным центром человеческого мозга. Ю. Л. Бессмертный, «Многоликая история (Проблема интеграции микро- и макроподходов)» в Казус: *Индивидуальное и уникальное в истории*, ред. Ю. Л. Бессмертный, М. А. Бойцов, (М., 2000. Вып. 3): 58.

несколькими обстоятельствами. Во-первых, потому, что он, несмотря на позднее время возникновения (как слова – со второй половины – конца XVIII в., как термина официального словаря – с XIX в.) действительно бытовал в историческом русском языке – в каких контекстах и смыслах – вопрос отдельного рассуждения. Во-вторых, потому что в нем отчетливо «прочитывается» смысловое ядро, вокруг которого строятся критерии конструкта: *юридическая составляющая*. И, наконец, именно поэтому он более, чем понятие «класс» (понятие узкого исторического бытования, причем семантически донельзя размытое), пригоден для роли аналитической категории. Уже цитировавшийся Б. Н. Миронов, полностью отдавая отчет в том, что категория «сословие» является привычным и удобным аналитическим инструментом для исследования российского общества периода империи, предложил сопоставить его различные группы с «классическими» для средневековой Европы сословиями. Для этого историк предложил 7 критериев, формирующих понятие «настоящего» сословия: «...1) каждое сословие имеет специфические права и социальные функции, которые закреплены юридически в обычае или законе; 2) сословные права передаются по наследству, следовательно, приобретаются по рождению; 3) представители сословий объединяются в сословные организации или корпорации; 4) сословия обладают специфическим менталитетом и сознанием; 5) сословия имеют право на самоуправление и участие в местном управлении или центральном государственном управлении... 6) существуют внешние признаки сословной принадлежности – одежда, прическа, особые украшения и т.п.; 7) межсословные переходы и браки допускаются, но строго контролируются»¹⁰.

Несколько лет назад я с коллективом коллег, отталкиваясь от понимания того, что сословие – это, прежде всего, *социально-правовая* категория, предложили сократить или обобщить некоторые из критериев, предложенных Б. Н. Мироновым, сфокусировавшись на тех из них, которые имеют, на наш взгляд, ключевое – юридическое – значение. В результате в качестве принципиально значимых критериев у нас остались: 1) набор прав и обязанностей, юридически закрепленных за сословием; 2) возможность передавать и получать их по наследству; 3) наличие сословной организации, прав самоуправления и возможность участвовать в местном или центральном управлении. На основании этих критериев сословие можно определить как упорядочен-

10 Б. Н. Миронов, *Российская империя*, 332–333.

ную социальную группу, у которой в совокупность правомочий (круга прав и обязанностей) входят право на передачу этих правомочий по наследству и право на самоорганизацию и (само)управление. Такое определение можно, как мы полагаем, считать сословием в узком смысле слова. В широком же смысле сословием возможно считать социальную группу, включающую в себя лиц, находящихся в одинаковом правовом статусе, обладающих юридически определенным специфическим набором прав и обязанностей, отличающих их как группу от других¹¹. В таком широком прочтении понятие «сословие» становится тождественным и понятию «состояние» русского законодательства XIX в., и понятию «люди», бытовавшему в юридических нормах XVII в.

При этом, разумеется, надо понимать, что нормативно российское общество XVII – XVIII и даже XIX в. так и не стало полностью и исключительно сословным в узком смысле. Считать его таковым не позволяет наличие слишком большого количества социальных групп, которые даже в позднеимперский период не стали обладателями всех признаков сословности. Наверное, оно и не могло стать таким: узкосословное деление было идеальной моделью, недостижимой в силу сложного и динамичного состояния социальной реальности. Собственно, сама трансформация *понятия* сословия в русской традиции¹² показывает, как под влиянием многочисленных социальных практик деформировалась нормативная модель, которую, начиная с XVIII в., пыталось утвердить государство¹³. И «государственные чины/роды» уложенных комиссий XVIII столетия, и «состояния» последующего времени демонстрировали то, что к «сословиям в узком смысле слова» и законодатель, и социальная практика относили лишь меньшую (в абсолютном и в относительном измерениях) часть общества. В то же время, даже для XVII в. возможно выделение групп, которые, в той или иной степени, *de jure* или *de facto* были близки к сословиям в «узком смысле» (в первую очередь, это служилые люди европейской части России, ставшие ядром российского имперского дворянства, духовенство, посадские, черносошные крестьяне русского Севера и т.п. категории, которые, если угодно, можно именовать формирующимися сословиями). Таким образом, спор о том, являлось ли российское общество сословным или не являлось таковым – вопрос научной конвенции. Если из всего набо-

11 См.: Д. А. Редин (ред.), *Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–XX вв.: векторы исследования* (СПб, 2018), 663–664.

12 Д. А. Редин. (ред.), *Границы и маркеры*, 127–154, 198–264.

13 Там же, 318–441.

ра критериев сословности делать акцент на его юридической составляющей, на идее правовой, нормативно закрепленной совокупности прав и обязанностей, нормативно закрепленной иерархичности, т.е. юридически закрепленном неравенстве, российское общество XVII–XIX вв. можно с оговорками признать сословным.

Впрочем, нужно ли это? Что нам дает это признание или не признание? Где, в каких исторических условиях реально существовало общество, строго организованное по принципу сословности? На некоем Западе? В абстрактной Европе Средневековья или Нового времени, на деле представлявшей собой совокупность крайне разнообразных регионов и субрегионов со своей ярко выраженной спецификой Пиреней, Аппенин, Скандинавии, Балкан, «до абсурда разнообразной» (Ф. Бродель) Франции, островной Британии и т.д., и т.п.? Было ли французское общество эпохи Старого порядка более сословным – с его тремя-четырьмя *etats*, но и *orders*, число которых «было намного большим» и критерии выделения которых были более сложными¹⁴ – чем российское того же времени, с его «людьми» и «чинами», или «сословиями» и «состояниями»? Можно ли характеризовать однозначно сословными сообщества германских земель и городов позднего Средневековья, исследования которых показывают «насколько мала была (в относительном выражении) общая численность тех жителей города, которые принадлежали к какой-нибудь из групп, обладавшей своим легитимным местом в сословной структуре, и насколько велика была доля тех, кто не входили никуда...»¹⁵? Такое общество не отличалось существенно от русского, где система социальной стратификации также была довольно рыхлой.

Тем не менее, представляется, что и вовсе отказываться от понятия «сословие» при изучении социальной истории России, где регулятивная роль государства – одна из доминант развития, а государственные предписания, в том числе и в сфере социального конструирования, являлись не пустым звуком, где общество во многом оставалось аскриптивным, состоящим из лиц и групп с нормативно предписанным статусом, не следует. Не следует при одной существенной оговорке: если помнить, что подобно и другим европейским странам, примени-

14 П. Ю. УВАРОВ, «Ролан Мунье – историк с репутацией консерватора» (Предисловие к книге Ролана Мунье «Убийство Генриха IV» (СПб., 2008)), *Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках* (М., 2015), 119.

15 Ю. АРНАУТОВ (ред.), Ю. ЗАРЕЦКИЙ, К. ЛЕВИНСОН, И. ШИРЛЕ (сост.), К. ЛЕВИНСОН (пер.), *Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 2* (М., 2014): 512–513.

мо к России Нового времени сословная классификация общественного устройства *есть лишь одна из возможных*.

Другая классификационная модель предстает в законодательстве изучаемой эпохи. Она представляется, вроде бы, предпочтительней, поскольку, при хорошей структурированности, является максимально аутентичной. Для российской ситуации нормативным текстом, в котором ярче и полнее иных памятников раннего Нового времени раскрывается «механика» гармонизации создаваемой социальной структуры и социальной стратификации и дается описание социальной иерархии, является Уложение 1649 г.¹⁶

Регулируя права и обязанности подданных, власть уже в самой общей структуре кодекса выделяет укрупненные социальные группы, определяя (впрочем, предельно широко) их рамочные параметры с помощью целых глав: служилых людей (гл. VII «О службе всяких ратных людей Московского государства»; гл. XVI «О поместных землях»; гл. XVII «О вотчинах»; гл. XXIII «О стрелцах»); посадских (гл. XIX «О посадских людех»); крестьян (гл. XI «Суд о крестьянех») и даже не правосубъектных, но столь заметных в общественных реалиях повседневности *холопов* (гл. XX «Суд о холопех»). Можно сколь угодно долго спорить о наличии или отсутствии в допетровской России функционалистских или каких-либо иных представлений об общественном устройстве; сетовать (и не без основания) на скудость социального дискурса; искать и не находить следов глубокой концептуализации представлений о социальном¹⁷ и т.п., но факт остается фактом: перед нами законодательно зафиксированная и отрегулированная общая картина социального устройства России XVII в., его фундамент, база. А где же духовенство? В гл. I («О богохулниках и церковных мятежниках») мы можем увидеть Церковь как сакральную институцию, но не как социальную общность; духовенство в качестве иерархии чинов священно-церковнослужителей и иночества подробно представлено в совокупности статей, распределенных по различным главам, особенно в гл. X «О суде». От-

16 В. АБРАМОВИЧ, А. Г. МАНЬКОВ, Б. Н. МИРОНОВ, В. М. ПАНЕЯХ (сост.), *Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарий* (Л., 1987).

17 Существовало ли в России середины XVII в., хотя бы на элитарном уровне, абстрактное социальное мышление, позволявшее «привести к согласию опыт социального теоретизирования (видение мира) и опыт повседневности (делание мира)», та самая «великая мутация, породившая современность», о чем писали А. Ю. Согомонов и П. Ю. Уваров – вопрос, заслуживающий отдельного исследования. См.: А. Ю. Согомонов, П. Ю. Уваров, «Открытие социального (парадокс XVI века)», *Одиссей: человек в истории* (М., 2011): 211–212.

существование специальной главы, посвященной лицам духовного звания, разумеется, не следует считать признаком, понижающим последних в общей конфигурации социальной иерархии; наличие целой системы канонического права избавило прагматичных составителей Уложения от необходимости подробной регламентации жизнедеятельности духовенства как социальной категории, оно проявляется в кодексе лишь в связи с теми аспектами, которые интегрировали его с функционированием государства и общества в целом.

Таким же образом законодатель поступил с различными группами служилых «инородцев», чье социальное бытие определялось другими правовыми системами, традициями и обычаями, и с казаками¹⁸: для русского законодательства их социальная маркировка, проявленная через набор отдельных правомочий, так же оказывалась актуальной постольку, поскольку названные категории соприкасались с государством (через службу и ее вознаграждение) и с основными категориями русского населения (через судебные тяжбы).

Наряду с общей картиной общественной организации Уложение демонстрирует «крупный план»: детализированную иерархию «всех чинов людей» Русского государства, представленную в известных статьях «о бесчестье» уже упоминавшейся гл. X «О суде» (стт. 27–99), неизменно производящих глубокое впечатление на исследователей социальной истории России. Совокупность отмеченных глав и статей позволяет говорить о том, что Уложение 1649 г. предлагает нам *социальную структуру* в том смысле, в котором её понимают в современной социологии: как относительно постоянную модель социальной классификации в определенном обществе¹⁹.

Моделирующая роль власти в данном случае проявилась в том, что, как известно, пойдя на компромисс с наиболее влиятельными социальными группами, правящая элита постаралась по возможности ясно определить и зафиксировать границы последних. Вспомним, например, попытку составителей Уложения связать право на владения поместьями по преимуществу с несением службы по «московскому» или «городовым» спискам. Вспомним, как столь же целенаправленно кодекс

18 Первые проявляются как своеобразная социальная категория в ряде статей в различных главах (в частности, связанных с правовой регламентацией служилого землевладения), вторым посвящена очень лаконичная (в три статьи) гл. XXIV («Указ о атаманех и о казаках»).

19 Д. Джери, Дж. Джери, *Большой толковый социологический словарь. В 2 т. Т. 2* (М., 2001), 242–243.

структурирует, маркирует посадских людей, присваивая именно им право на регулируемую городскую торговлю, на содержание постоянных торговых мест и т.п. в противоположность торгующим крестьянам. Разумеется, за всеми этими и подобными нормами – интерес и выгода властной элиты, но не только; законодательная фиксация сложившейся социальной стратификации – но и её корректировка; некоторая перспектива общественного развития, но при этом полное отсутствие искусственно выстроенной идеальной модели общества, под которую подгоняется или к которой подвигается социальная реальность. Может быть и в силу такого своеобразного, «реактивного» и компромиссного конструирования социального власть не добила абсолютного социального мира (компромисс был достигнут за счет ухудшения статусных позиций большинства – крестьянства, этой вечной жертвы модернизационных процессов), но достигла относительной общественной устойчивости. При всех социальных потрясениях столетия России удалось избежать второй Смуты и краха государственности; в этом смысле трудно не согласиться с О. Н. Новохатко, охарактеризовавшей XVII век как период «редкого равновесия», период «единства столичной и провинциальной жизни»²⁰.

Методам социального конструирования и юридической технике соответствовал язык социальной классификации эпохи. Как и в Средние века, Уложение 1649 г. описывает социальную структуру общества через дробное перечисление, в трогательном стремлении учесть если не всё, то большую часть в той или иной мере значимых групп. Но социальный словарь кодекса знает уже и абстрактные понятия: «люди» и «чин» («чины»). Пожалуй, именно термин «люди» являлся наиболее общим генерализирующим понятием, означавшим принадлежность к некоему множеству людей, обладавших единым определяющим признаком (признаками). В свою очередь понятие «чин» могло являться уточняющим по отношению к «людям», но в определенных случаях могло иметь самостоятельное значение. Соотношение этих двух понятий в применении к тому или иному индивидууму или группе задавало дифференцированность классификационных иерархий, могло варьироваться в зависимости от ситуации.²¹ В этом отношении прочитанная таким образом классификационная схема, предлагаемая Уложением 1649 г., оказывалась не

20 И. Н. Кузнецов, О. В. Новохатко, А. Д. Шахова, *Светское устройство и архитектурное благоустройство Переславля-Залесского в XVII веке* (М., 2014), 67.

21 Более подробную аргументацию этому дал М. А. Киселев в книге: Д. А. Редин. (ред.), *Границы и маркеры*, 127–136.

единственно допустимой; задавая в качестве основного классификационного критерия наличие обязанностей человека или группы перед государем и определяя их привилегии, даруемые государем, она допускает непротиворечивое существование других классификационных критериев, которые, в иных ситуациях, выстраивали иные схемы и иерархии (например, местническую иерархию для «родословных людей»).

Так является ли социальная таксономия Уложения умозрительной, отражающей лишь «взгляды самих классификаторов, создававших схемы, исходя из неких собственных установок и целеполаганий», подобно трактатам Шарля Луазо или «Тарифу капитации» во Франции XVII в.^{22?}

И да, и нет. Да, поскольку явно не охватывает всего многообразия социальной реальности, оставляя вне своих рамок сообщества, не входящие в ядро Русского государства (по сути, всю периферию от «немецких» и «литовских» «украин» до «дальних государевых вотчин Сибирские земли»). Да, поскольку дает нам социальную статистику, не учитывающую в своей рубрикации целую массу подвижных, изменчивых маргинальных и переходных социальных групп, как упомянутых в самом тексте Уложения (задворные люди, бобыли, вольные люди), так и известных нам по частным актам, делопроизводству и судебным делам. Нет, поскольку в соответствии с юридической техникой времени, цепкой прагматической хваткой ухватывает наиболее важные (для власти) и характерные реалии современной социальной стратификации. Нет, поскольку составлялась в диалоге с представителями наиболее активных и крупных социальных групп, постаравшихся донести до законодателя собственные представления о справедливом наборе прав и обязанностей, маркирующих их статусные (самоидентификационные) позиции.

Подобного рода тексты, представляющие официальный взгляд на социальную иерархию и придающую ей нормативно предписанный вид (пусть и не в таком объемном виде, как это сделано в Уложении 1649 г.), можно найти и в последующем (Табель о рангах 1722 г., указ о проведении подушной подати от 22 января 1719 г., Регламент Главного магистрата 1721 г. для первой четверти XVIII в. или комплекс законодательных актов Екатерины II, вроде Жалованных грамот дворянству и городам для второй половины столетия). Эти тексты, демонстрирующие, между прочим, изменения в подходах правящей элиты к структурированию общества (от, по преимуществу, фиксации существовавших

22 П. Ю. Уваров, «Социальные именованья парижан в эпоху Старого порядка», *Социальная идентичность средневекового человека* (М., 2007): 183.

структур к их конструированию под некую идеальную модель), дающие нам, по крайней мере, возможность понять, как законодатель воспринимал текущую социальную реальность, не могут быть игнорированы.

И вновь, при изучении текстов такого рода, на их страницах перед нами возникает что-то вроде сословной градации, даже если сам термин в этих текстах не используется. Какие бы собственные представления о своем положении в обществе ни имели подданные короны, они вынуждены были, так или иначе, учитывать существовавшую, определенную законодателем и выстроенную *на основе юридического критерия* классификацию. Так, например, стремление обеспечить свою жизнь через доходные виды деятельности, не связанные со службой и тяглом или просто полноценно воспользоваться плодами такой деятельности, требовали приспособления к официально предписанной юридической (по сути, сословной) структуре, позиционирования себя через сословные маркеры. Купец или мещанин мог завести фабрику, но достигнув дворянского состояния был способен через сословные привилегии получить более комфортные условия ведения дела. Крепостной-приказчик, вхожий в самые высокие губернские присутствия или тот же крепостной, достигший через торговые операции значительных капиталов, оставались всего лишь крепостными; закрепление их социального успеха было невозможно без перехода в свободное состояние и «натурализации» в одном из свободных сословий. Никакое богатство не могло само по себе гарантировать повышения статусных позиций вне заданной решетки сословной иерархии.

Но понимание социальной организации невозможно без учета представлений о таковой массы современников, которые были лишены возможности построения каких-либо общих классификационных схем, но, тем не менее, имели индивидуальные и/или коллективные взгляды на собственный статус, свои критерии социальной самоидентификации и презентации, позволявшие отличаться от других. Сложность изучения социальности через оптику такого рода, понимание этого «третьего языка» социальных описаний заключается в том, «что у современников, судя по всему, вообще не было единого скрытого ментального образа социальной иерархии – этих образов было великое множество и зависели они от многих факторов»²³. Если даже официальные тексты эпохи дают нам весьма дробную карти-

23 П. Ю. УВАРОВ, «Социальные именованья», 183–184. Мысль, высказанная по поводу французского общества XVII в. абсолютно уместна в отношении российского.

ну общественного устройства, то фиксация наименований социальной идентификации индивидов и групп становится делом не только крайне трудоемким, но и почти недостижимым, особенно, если учесть хорошо известную историкам практику, в результате которой одно и то же лицо могло в течение жизни и в зависимости от обстоятельств манипулировать своими статусными характеристиками (статусными наборами), используя их в разных комбинациях. Для исследований конкретных ситуаций в режиме заданных пространства и времени (исследования регионального и локального формата) такое положение дел не создает непреодолимых трудностей историку. Наоборот, именно такие изыскания позволяют нам максимально близко подойти к пониманию всего богатства оттенков и нюансов социальных отношений, характеристик изучаемого общества. «Если общество реально фрагментировано на очень большое число слишком мелких категорий, – писал Ролан Мунье, – то в этом и может состоять его определяющая черта, сущностный характер этого общества; следовательно, нужно с уважением относиться к этим категориям, даже если они и затрудняют статистическую обработку...»²⁴. С этим не поспоришь, но проблема заключается в том, что время от времени всё же возникает потребность создания обобщающих научных, справочных и учебных текстов, а значит потребность создания обобщающих категорий, очередного перехода к иному языку описания²⁵! И исследователи снова стоят перед вопросом корректного (коррелирующего с источниками) конструирования «кабинетных» терминов и групп «людей на бумаге».

Мне представляется, что такого рода корректное конструирование, хотя и очень непростое и трудозатратное, возможно при внимательной проработке содержания широкого круга источников вроде челобитных, прошений, частных актов, судебных дел, материалов переписей и т.п. материалов. Их массовое прочтение дает возможность вычленивать из широкого круга содержащихся там коллективных и индивидуальных статусных характеристик какие-то константы, которые всегда или чаще всего использовались авторами этих текстов. Так, например, для XVII в. и для значительной части XVIII в. (особенно для податных групп

24 R. MOUNIER, *La plume, la faucille et le marteau: institutions et société en France du Moyen âge à la Révolution*, (P., 1976), 15–16. Цит. по: П. Ю. УВАРОВ, «Ролан Мунье», 121–122.

25 При этом сам Р. Мунье вовсе не чуждался обобщений, «охотно конструировал генерализирующие теории», но при этом справедливо настаивал на том, что «подсчетам должны предшествовать кропотливые монографические изыскания в рамках отдельных семей, кварталов, приходо-». П. Ю. УВАРОВ, «Ролан Мунье», 120, 122.

населения) такими статусными характеристиками, или социальными маркерами являлись указания на территориальную привязку (место жительства), юридический статус (отнесение себя к той или иной юридически конституированной категории: дети боярские, посадские, купцы, крестьяне того или иного статуса и т.п.), функциональную/профессиональную принадлежность и семейный статус. Продуктивность для понимания групповой социальной идентичности имеет формула «своя братия», часто использовавшаяся индивидами для получения каких-либо преимуществ, которыми обладали социальные группы, по отношению к которым индивид имел равный статус²⁶. Для этих же целей большое значение имеют нарративные источники XVIII в., раскрывавшие взгляды на социальную иерархию и социальные именования представителей элитных слоев русского общества: церковные проповеди высшего духовенства и разножанровые сочинения представителей дворянства – двух страт, наиболее интенсивно прошедших путь внутренней социальной консолидации²⁷. Вычленение из множества самоидентификационных признаков нескольких констант, даст, как полагаю, возможность создания некоторых не столь многочисленных укрупненных социальных категорий, с которыми будет удобнее оперировать в научных описаниях, но которые при этом не будут выглядеть слишком отдаленными от той социальной картины, которая предстает перед нами при изучении аутентичных текстов. При этом, конечно, следует помнить и о неравномерности процессов социальной консолидации в разных современных друг другу слоях населения. Известно, что такая консолидация интенсивнее и результативнее происходит в элитных, нежели в профанных сообществах. Внутренняя консолидация русского дворянства, например, в целом завершается в Екатерининскую эпоху, в то время как самая многочисленная часть подданных российской короны – крестьянство (даже в наиболее эмансипированной своей части – в категории государственных крестьян) едва ли начинает себя осознавать единой общностью и в пореформенный период. И это еще без учета специфики социальной стратификации в регионах полиэтничных или с преобладанием нерусского населения! Там динамика

26 См., например: М. Т. Накишова, «Социальная самоидентификация служилых людей в России во второй половине XVII в.: практики и стратегии социального взаимодействия», *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*, no 5 (2017): 40–45.

27 Обстоятельный и целостный анализ этому дал Константин Д. Бугров в одной из глав коллективной монографии: Д. А. Редин (ред.), *Границы и маркеры*, 155–197.

социальных процессов и социальное ранжирование (или ранжирования?) могут показывать совершенно другие конфигурации.

В качестве примера такого аналитического укрупнения социальных групп приведу предварительные результаты исследования социальной стратификации Екатеринбурга 1720-х – 1780-х гг.²⁸ Источниковым материалом, на основе которого стала возможность предельно широкого выявления всех социальных групп этого уральского города-завода, стали результаты подворных переписей 1728 и 1788 гг. Ожидаемо, что они дали очень дробную картину социальной иерархии екатеринбургских обывателей. Едва ли не ведущим критерием социальной идентификации, которым руководствовались переписчики, служил критерий функциональной/профессиональной принадлежности; осуществлявшие учет канцелярские служители не видели особой разницы между тем, что принято именовать сословным, с одной стороны, и профессиональным статусом, родом занятий, с другой. При этом сословная принадлежность людей, обозначенная в переписи, могла не совпадать, но род занятий при этом был одинаков (*посадский человек* «торг имеет разными харчевыми припасы», но и *купец* «торг имеет салом говяжьим сырым и хлебом»); служебный ранг человека мог полностью совпадать с родом занятий (*маркшейдер* одновременно и *звание* по табели горных чинов, или рангов, и *род занятий* – специалист в области разведки месторождений и добычи полезных ископаемых); род занятий и профессиональная принадлежность не всегда позволяют установить юридический статус (кузнец мог быть «вольным человеком» и работать на себя, а мог быть казенным мастеровым, трудившимся за окладное жалованье в заводских цехах) и т.п. Все эти тонкости, фиксировавшиеся в переписях, отражали не только и не столько представления переписчиков, сколько были важны для тех, кого переписывали, поскольку учет велся с их слов. Несомненно, для точного понимания всего многообразия социальных маркеров историк не может их игнорировать. В то же время для удобства обработки и анализа материала неизбежно приходится прибегать к каким-то обобщениям, сводить некоторые категории населения в укрупненные группы, объединять, например, каменщиков, кузнецов, плотников, бочкарей и прочих в единую группу мастеровых людей, наряду с заводскими мастера-

28 Е. В. Бородина, С. И. Цеменкова, «Структура и численность населения раннего Екатеринбурга (1723–1744 гг.)», *Научный диалог*, т. 12, no 9 (2023): 339–371; Они же, «Численность и социальный состав жителей Екатеринбурга по переписям 1728 и 1788 годов», *Quaestio Rossica*, т. 12, no 3 (2024): 836–851.

ми, подмастерьями, учениками и работными людьми, а специалистов горного дела (маркшейдеров, бергауэров, шихтмейстеров, пробирщиков) с геодезистами и учениками пробирного, механического, лесного дела в категорию инженерно-технического и контрольно-вспомогательного персонала. И подобные примеры разности языков описаний социальной ситуации, разности – подчеркну еще раз – проявлявшейся как в источниках различного происхождения, так и той, которая неизбежно возникает в процессе научного анализа и передачи содержания источников, можно продолжать бесконечно долго. Поэтому, полагаю, следует подвести итоги.

Все из возможных языков описаний социальной организации России раннего Нового времени имеют право на существование. Вопрос заключается лишь в том, для чего мы используем тот или иной язык? Если речь идет об общем обзоре состояния русского общества XVII–XVIII вв., например, в учебном курсе или в обобщающем труде, не будет, наверное, большим грехом назвать его сословным, сделав соответствующие оговорки: общество формирующихся сословий; общество, состоявшее из неконсолидированных сословий и внесословных групп или что-то в этом роде. Это упрощенный, удобный для текстов такого рода объяснительный язык, при этом не слишком оторванный от изучаемой социальной реальности, не полная абстракция, рожденная исключительно в результате кабинетных умозаключений.

Если нам интересна история эволюции представлений властных элит о себе и управляемом ими обществе; история законодателя, имевшего возможность влиять на социальность посредством нормативно закрепленных иерархий, то мы неизбежно должны учитывать и использовать язык официальных текстов эпохи. Если мы хотим разобраться в деталях сложного и динамичного процесса социальных взаимодействий, то к языку официальных аутентичных таксономий мы должны добавить многоголосый язык самоидентификаций различных социальных групп, чье многообразие, всё-таки, возможно свести к какому-то обозримому множеству, используя наборы константных характеристик, всегда или зачастую значимых для этих групп.

Вероятно, к ужасу сторонников раз работки строгих дефиниций, следует признать, что в исторической науке таковые попросту недостижимы. Каждое историческое явление познаваемо в конкретике места и времени, а значит, при всех типовых сходствах обладает уникальностью. Не потому ли любое абстрактное понятие: «государство», «общество», «закон», «абсолютизм», «гражданство» и т.д., и т.п., более

или менее цельно и определенно смотрящее на нас со страниц социологических и политологических словарей, обрастает массой коннотаций, оттенков и оговорок, дополнений и толкований, превращаясь из относительно короткого определения в пространные нарративы? Так не пора ли принять это как данность и, не стремясь изобретать очередную «социальную физику», признать, что порой контекстная ясность слов может быть результативней жестких дефиниций?

References

- IU. L. BESSMERTNYI, «Mnogolikaia istoriia (Problema integratsii mikro- i makropodkhodov)» [Many-Sided History (The Problem of Integrating Micro- and Macro-Approaches)], Kazus: *Individual'noe i unikal'noe v istorii*, IU. L. BESSMERTNYI, M. A. BOITSOV, eds., Vol. 3 (Moskva, 2000): 52–61.
- E. V. BORODINA, S. I. Tsemenkova, «Struktura i chislennost' naseleniia rannego Ekaterinburga (1723–1744 gg.)» [The Structure and Population Size of Early Yekaterinburg (1723–1744)], *Nauchnyi dialog*, vol. 12, no. 9 (2023): 339–371. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-9-339-371>
- E. V. BORODINA, S. I. Tsemenkova, «Chislennost' i sotsial'nyi sostav zhitel'ei Ekaterinburga po perepisiam 1728 i 1788 godov» [The Number and Social Composition of Ekaterinburg Residents According to the Censuses of 1728 and 1788], *Quaestio Rossica*, vol. 12, no. 3 (2024): 836–851. <https://doi.org/10.15826/qr.2024.3.911>
- M. L. BUSH (ed.) *Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification* (Harlow: Longman, 1992).
- MICHAEL CONFINO, “Soslovie (estate) Paradigm: Reflections in some open questions”, *Cahiers du Monde russe*, vol. 49, no. 4 (oct. – dec.) (2008): 681–704.
- D. DZHERI, DZH. DZHERI, *Bol'shoi tolkovyi sotsiologicheskii slovar'* [Big Explanatory Sociological Dictionary]. V 2 t. T. 2 (Moskva: Veche; AST, 2001).
- GREGORY L. FREEZE, “The Estate (Soslovie) Paradigm and Russian Social History”, *The American Historical Review*, Vol. 91, no. 1 (1986): 11–36.
- G. FRIZ, «Soslovnaia paradigma i sotsial'naia istoriia Rossii» [The Estate Paradigm and Russian Social History], *Amerikanskaia rusistika: Vekhi istoriografii poslednikh let. Imperatorskii period: antologiiia* [American Russian Studies: Milestones in Historiography in Recent Years. The Imperial Period: An Anthology] (Samara: Izd-vo “Samarskii universitet”): 121–162.
- I. N. KUZNETSOV, O. V. NOVOKHATKO, A. D. SHAKHOVA, *Svetskoe ustroistvo i arkhitekturnoe blagoustroistvo Pereslavl'a-Zalesskogo v XVII veke* [The Secular Structure and Architectural Improvement of Pereslavl'-Zalessky in the 17th Century] (Moskva: Pamytniki istoricheskoy mysli, 2014).
- B. N. MIRONOV, *Rossiiskaia imperiia: ot traditsii k modern* [The Russian Empire: From Tradition to Modernity], t. 1 (Sankt-Peterburg: Dmitry Bulanin, 2014).
- ROLAND MOUSNIER, *La plume, la faucille et le marteau: institutions et société en France du Moyen âge à la Révolution*, (Paris: Presses Universitaires de France, 1976).
- M. T. NAKISHOVA, «Sotsial'naia samoidentifikatsiia sluzhilykh liudei v Rossii vo vtoroi polovine XVII v.: praktiki i strategii sotsial'nogo vzaimodeistviia?» [The Social Self-Identification of Service People in Russia in the Second Half of the 17th Century: Practices and Strategies

of Social Interaction], *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*, no. 5 (2017): 40–45.

DAVID L. RANSEL, “Implicit Questions in Michael Confino’s Essay”, *Cahiers du Monde russe*, vol. 51, no. 2–3 (avr. – sept.) (2010): 195–210. <https://doi.org/10.4000/monderusse.9181>

D. A. REDIN (red.), *Granitsy i markery sotsial’noi stratifikatsii v Rossii XVII–XX vv.: vektory issledovaniia* [Boundaries and Markers of Social Stratification in Russia in the 17th–20th Centuries: research vectors] (Sankt-Peterburg: Aleteja, 2018).

ALFRED J. RIEBER, *Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982).

Slovar’ osnovnykh istoricheskikh poniatii: Izbrannye stat’i [Dictionary of Basic Historical Concepts: Selected Articles], Vol. 2 / per. s nemeckogo K. Levinson; sost. IU. Zaretskii, K. Levinson, I. SHirle; nauchn. red. perevoda IU. ARNAUTOV (Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014).

Sobornoe ulozhenie 1649 goda. Tekst. Kommentarii [Conciliar Code 1649. Text. Comments] / podgot. teksta L. I. IVINOJ, kom. G. V. V. ABRAMOVICHA, A. G. MAN’KOVA, B. N. MIRONOVA, V. M. M. PANEIAKHA (Leningrad: Nauka, 1987).

A. IU. SOGOMONOV, P. IU. UVAROV, « Otkrytie sotsial’nogo (paradoks XVI veka) [The Discovery of the Social (16th Century Paradox)] », *Odissei: chelovek v istorii* (Moskva: Nauka, 2011): 199–215.

P. IU. UVAROV, «Sotsial’nye imenovaniia parizhan v epokhu Starogo poriadka» [The Social Naming of Parisians during the Old Regime], *Sotsial’naia identichnost’ srednevekovogo cheloveka* (Moskva: Nauka, 2007): 180–192.

P. IU. UVAROV, «Rolan Mun’e – istorik s reputatsiei konservatora» (Predislovie k knige Rolana Mun’e «Ubiistvo Genrikha IV» (SPb., 2008) [Roland Mousnier is a Historian with a Conservative Reputation (Preface to Roland Mousnier’s book “The Assassination of Henry IV” (Sankt-Petersberg, 2008)), *Mezhdru «ezhami» i «lisami». Zametki ob istorikakh* [Between the “Hedgehogs” and the “Foxes”. Notes on Historians] (Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2015): 242–260.

E. K. WIRTSCHAFTER, “Social Categories in Russian Imperial History”, *Cahiers du Monde russe*, vol. 50, no. 1 (jan. – mars) (2009): 231–250. <https://doi.org/10.4000/monderusse.9164>